

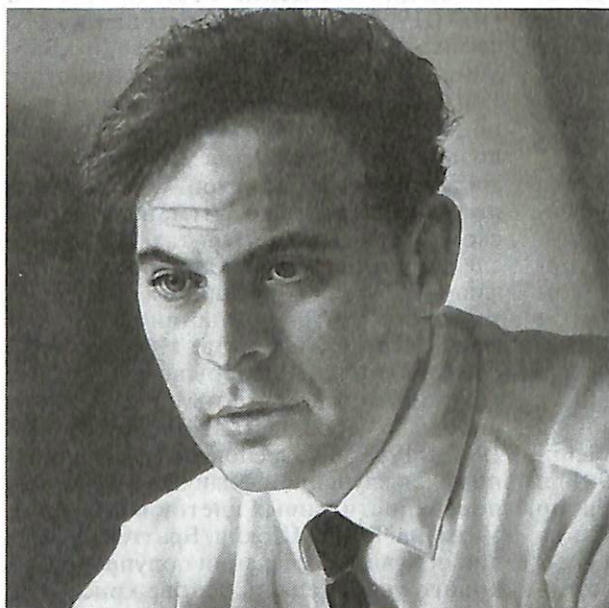
Г. И. АБЕЛЕВ

ДРАМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТДЕЛА ВИРУСОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ ОПУХОЛЕЙ*

От редакции

Гарри Израилевич Абелев — биохимик, иммунолог, академик РАН, лауреат Государственной премии СССР, а также ряда международных премий. Исследования его посвящены иммунохимии опухолей и теоретической разработке основ иммунодиагностики в онкологии. Совсем недавно одним из первых отечественных ученых он стал лауреатом престижной премии «Триумф» (2001 г.) за значительный вклад в отечественную и мировую науку в номинации «Наука о жизни».

Редколлегия ВИЕТ поздравляет нового лауреата и желает ему здоровья и дальнейших творческих успехов!



Г. И. Абелев. Начало 1970-х гг.

Этот очерк не предназначался для публикации. Он был написан в 1975 г., когда не только публиковать, но «хранить и распространять» подобные материалы было небезопасно. Но и преследовал он совсем иные цели — я просто хотел записать последовательность разворачивающихся событий и сохранить документы, к ним относящиеся. Однако попытки понять смысл происходящего и мотивы поведения участников, равно как и фон, на котором этот конфликт развивался, привели к иному результату — отражению «большого мира в капле воды».

В основе конфликта не лежало ни научных, ни организационных противоречий с администрацией института или Академии — это были попытки сохранить хоть какие-то элементы

* Отдел вирусологии и иммунологии опухолей Института эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи АМН СССР.

гражданского и человеческого достоинства в условиях тотального подчинения и контроля, не совместимых с нормальными человеческими понятиями. Описанные здесь события вышли за рамки институтской жизни, вовлекли ученых и администрацию Большой и Медицинской академий и, я надеюсь, притормозили волну оледенения, сменившую хрущевскую оттепель шестидесятых годов.

Я возглавлял отдел после смерти его основателя Льва Александровича Зильбера (1894–1966) и оказался в центре событий, к чему совсем не стремился. Временами противостоять им было выше моих сил, и я испытывал чувство тяжелой вины перед своими товарищами. Попытки понять, а значит и оправдать, свои поражения играли не последнюю роль при описании всей истории.

Для кого я писал? Для себя? Для своей совести? Для какого-то вымышленного читателя, кто будет судить меня и мои поступки? Я почти никому не давал рукопись и даже не перепечатывал ее. Правда, когда писатель В. А. Каверин расспрашивал меня о том, как может устоять лаборатория против ее разгона, какие существуют пути ее защиты перед администрацией, я не мог объяснить все особенности таких ситуаций и предложил ему «летопись» наших событий. Многое из нее, совсем в другом, почти детективном, контексте он использовал в своем романе «Двухчасовая прогулка».

Я показал как-то рукопись писателю М. А. Поповскому, автору «Дела академика Вавилова», тогдашнему диссиденту. Он рукопись одобрил, посоветовал, как перенести ее на пленку, как хранить. Затем, уже в эмиграции, в начале 80-х годов он сделал по ней передачу для «Голоса Америки», правда, не называя по имени участников, но вполне прозрачную, — передачу, которая могла мне дорого обойтись. Ее засекли, но ход делу не дали. Небольшой фрагмент рукописи я опубликовал в начале 90-х годов в воспоминаниях о В. А. Энгельгардте («Онтогенез», т. 24, 1993, № 6, с. 92–94).

Судьбы ученых в нашей стране всегда включают драматические страницы — не знаю почему, но так было всегда и, вероятно, будет. Поэтому события, описанные здесь, хотя и утратили свою актуальность, могут оказаться небезразличными и для нынешнего поколения отечественных ученых.

* * *

События, о которых я хочу написать (в 1975 г. — Г. А.), еще далеко не закончились.

Трудно сказать точно, с чего они начались, но первым серьезным «происшествием», которое, несомненно, не раз «аукнулось» в дальнейшем, — был мой вызов в КГБ.

Это было в марте 1970 г. Я был тогда заведующим отделом, состоящим из двух лабораторий — вирусологии опухолей и иммунохимии опухолей и одновременно руководителем иммунохимической лаборатории. Дела наши шли вполне успешно. Отдел стабилизировался и ритмично работал. Никаких серьезных трудностей или внутренних разладов не было. В лаборатории был подъем. Проблема альфа-фетопротейна (АФП)* становилась все более популярной среди экспериментаторов и особенно клиницистов. Только что было закончено совместное с Международным агентством по изучению рака (МАИР) исследование по диагностической ценности АФП-теста, которое дало очень хорошие результаты. Заканчивалась передача в производство иммунодиагностикума на рак печени и тератобластомы. Шла к концу удачно начатая Толей Гусевым и Наташей Энгельгардт** совместная рабо-

* Альфа-фетопротейн — белок, общий для эмбриональной печени и рака печени; используется в диагностике рака печени и тератобластом.

** Старшие научные сотрудники нашей лаборатории.

та с Массиевым и Камэ (из Дакарского университета) по иммунофлуоресцентной локализации АФП в опухолях человека. Это была первая успешная попытка локализовать АФП после нескольких лет неудач. Также после ряда лет безуспешной работы наконец был найден высокочувствительный тест на АФП и впервые показана его продукция при гепатите у людей и при регенерации печени у крыс.

Это были важные вещи, полученные впервые, полученные в результате серьезной работы и создавшие прочные перспективы для дальнейшего развития исследований.

Очень расширились и окрепли наши международные контакты — с Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), где мы уже были референс-лабораторией с бюджетом в 3000 долларов, с Международным агентством по изучению рака, с которым был заключен контракт на работу по АФП, с рядом лабораторий во Франции, в США, Дакаре и многими другими. Я много раз выезжал за границу, с 1967 г. — ежегодно: в ВОЗ (Женева), МАИР (Лион), в США, Англию, Африку — и каждая поездка укрепляла наши контакты, и как-то продвигала дело вперед, и давала новые деньги для лаборатории. Нашим международным связям очень содействовал директор института академик АМН СССР Оганес Вагаршакович Бароян.

В 1970 г. уже несколько подзабылись и «дело Гурвича» (1968)*, и «дело Брондза» (1968)**. Обстановка была вполне рабочая, положение стабильное, перспективы самые лучшие.

В это время ко мне начал заходить наш «куратор» по линии КГБ, осуществляющий надзор за режимом в институте, лейтенант или капитан (в штатском) — молодой человек с очень небросающейся в глаза внешностью, вполне вежливый и уважительный.

В.М. — он представился мне вполне официально, показал свое удостоверение, объяснил, что нашу лабораторию очень часто посещают иностранцы и поэтому он должен быть в курсе этих посещений, проверять, все ли у нас проводится по инструкциям, знать, нет ли у нас в этом отношении каких-либо трудностей или нежелательных происшествий. При этом он был очень любезен и не скупился на комплименты. В таких посещениях ничего необычного не было — обычный контроль со стороны КГБ, не выходящий за пределы режима института. Я был с ним также вполне любезен в пределах административных обязанностей.

Как-то, во второе или третье посещение, он невзначай сказал, что его начальник, шеф районного КГБ, много хорошего обо мне слышал и хотел бы со мной познакомиться. Я сразу же насторожился, перешел на сугубо официальный тон, сказал, что не вижу в этом никакой необходимости, что все, касающееся соблюдения режима или приема иностранцев, — в распоряжении В. М., что в случае непредвиденных событий я сам поставлю его в известность, и я не вижу никаких вопросов, которые надо было бы решать с большим начальством, и что вообще я очень занят. Но В. М. продолжал настаивать, говорил о помощи в работе, о большом весе его начальника, который был полковником (или генералом), депутатом Моссовета (или, может быть, райсовета), его интересе и расположении ко мне.

Тогда я довольно прямо сказал В. М., что обязан сотрудничать с ним в пределах вопросов, предусмотренных соблюдением институтских инструкций, но ни на что

* Эпопея по снятию профессора А. Е. Гурвича (1918–1989) с руководства лабораторией химии и биосинтеза антител в связи с подписанием письма правозащитников. См.: Э. А. Эльгорт. «Дело» Гурвича // Онтогенез. Т. 24. 1995. № 4. С. 100–112.

** Угроза увольнения старшего научного сотрудника Б. Д. Брондза (1934–2000) за желание принять участие в иммунологической конференции в Праге в 1968 г.

больше не пойду и поэтому не хочу встречаться с его начальством. В. М. сразу понял и начал меня убеждать, что я думаю совсем не в том направлении: как я мог подумать такое? Зачем нужно привлекать таких ученых, когда стоит им только кликнуть, и они будут иметь в институте сколько угодно «сотрудников», что со мной им просто интересно и важно обсудить вопросы международного сотрудничества, чтобы помочь ему, и далее в том же роде. Но раз я не хочу, то он не будет настаивать. На этом наша беседа кончилась. Я думал, что больше он к этому не вернется.

Здесь надо сказать, что с КГБ у меня были связаны едва ли не самые тяжелые и гнусные впечатления еще с детских лет. Когда я начал учиться в седьмом классе, во время войны, в 1943 г., меня (и, вероятно, не одного меня) повесткой вызвали в Краснопресненский военкомат, что было тогда самым обычным делом. Но вызов был необычным — принимал человек в штатском, в отдельной комнате, никакой очереди у него не было. Я сразу же решил, что меня как отличника, общественного и допризывника призывают в военную школу, что в то время делалось также по мобилизации, в безусловном порядке, в допризывном возрасте, но выборочно. У меня же в то время проснулась такая сильная, хотя и неопределенная, тяга к науке, что я готов был отслужить солдатом сколько придется, но только не попасть в военную спецшколу и не стать профессиональным офицером. Не дожидаясь вопросов, я стал просить штатского не брать меня в военную школу, что-то объяснял ему, пока до него не дошло, чего я от него жду и чего боюсь.

Он сказал, что подумает, как мне помочь, но и я должен помочь ему. В школах случаются непатриотические настроения, в одной школе произошло самоубийство, причем самоубийца оставил записку враждебного содержания, бывают упаднические настроения, школьники должны выявлять и т.д.

Хотя я раньше никогда не слышал ни о стукачах, ни об «информаторах», я быстро понял, чего от меня хотят, и начал нудить, что таких настроений не знаю, что у нас все ребята хорошие, что, конечно, если что-нибудь случится, я ему расскажу. Он взял с меня подписку о неразглашении и какое-то письменное обещание, и на мне повисло мерзкое чувство, что я теперь связан с постыдным делом, должен это скрывать, и думал только, как от этого избавиться.

Вскоре я ушел из школы в экстернат, совсем в другой район, и думал, что на этом все кончится. Но оно не кончилось. Где-то в 1944 или в 1945 г., когда я был уже в десятом классе, меня вызвали непонятной повесткой по какой-то статье УПК, с обязательной явкой, уже не в военкомат, а по адресу, ничего мне не говорившему, к тов. Рыбкину. Это был маленький особняк на Красной Пресне, в переулке, на углу которого находится гинекологическая больница. В особняке было много молодых полувоенных людей, много комнат, сейфы.

Рыбкин — молодой полувоенный очень жесткий человек — сначала резко упрекнул меня, что я не приходил, что он вынужден вызывать меня повесткой, что я уклоняюсь и что-то в этом роде. Затем стал расспрашивать о школе, ребятах, учителях, кружках. Я отвечал все то же: ребята очень хорошие, все патриоты, учителя очень хорошие, кружок литературный очень хороший, ребята в кружке делают доклады на патриотические темы. Он заставил меня написать об этом. Затем продиктовал текст, который я сейчас плохо помню, но смысл его был в том, что я прекращаю сотрудничать с ними и обещаю не разглашать бывшие с ними встречи. Я сейчас не помню точно, было ли это при первом или втором вызове к этому Рыбкину.

С меня свалилась гора. Я думал, что они от меня отъезжались.

Примерно через год или меньше в больнице, что была на углу, с тяжелой болезнью лежала моя мать. Я часто бывал у нее и однажды на остановке трамвая, напротив больницы, нос к носу столкнулся с этим Рыбкиным. Я как будто наступил

на гадюку, сорвался, побежал и бежал до самой площади Восстания, боясь, чтобы он меня не узнал и не вспомнил.

Мои контакты с КГБ я носил в себе как позорное проклятие, никогда ни с кем не говорил о них, стыдился, хотя ничего плохого и не сделал. Но это жгучее чувство стыда во мне осталось. Я боялся КГБ как огня. Главным образом поэтому я не вступил в комсомол, а потом в партию, хотя подвергался сильному давлению, и неоднократно. Я знал точно, что если я вступлю, то, подчиняясь партийной или комсомольской дисциплине, уже не смогу от них избавиться.

Много лет меня не трогали, и я уже думал, что на мне действительно поставили точку. Но где-то в 1957–1958 г., а может быть, раньше, когда я работал у Льва Александровича Зильбера и работа шла очень хорошо, меня вызвал Н. А. Мещеряков — начальник нашего спецотдела и провел меня в заднюю комнату своего помещения, где со мной остался штатский человек лет 45–50, сотрудник Минздрава СССР — Хрипко. Этого Хрипко я не раз встречал в министерстве, да и сейчас (в 1975 г. — Г. А.) он, по-моему, там. Его фамилию то называет Бароян, то она встречается в каких-то бумагах.

Этот Хрипко сразу же напомнил мне о Рыбкине, а затем очень любезно стал спрашивать о работе и жизни, напирая все время на то, что зарплата у меня для моей семьи небольшая (тогда у меня было уже двое детей), что жить нам, наверное, на 20 квадратных метрах и в общей квартире тесно. Я говорил, что зарплата теперь уже большая (1750 р. до реформы 1961 г.), квартира тоже большая, двухкомнатная, и что все хорошо. Тогда он стал хвалить Зильбера, его талант, исключительно важные работы. Говорил, что они (КГБ) внимательно следят за этими работами, хотя их поддерживать и нуждаются в правильной и совершенно объективной информации о Л. А. и рассчитывают на меня как на способного и преданного его сотрудника, который должен им помочь. Я от всего отказывался, намеков на зарплату и квартиру не понимал, говорил, что никакой информации, кроме известной всем, у меня нет, что я не могу с ними сотрудничать, не могу хранить тайны, жить двойной жизнью, что меня это тяготит и т.п.

Хрипко обижался, говорил, что я его неправильно понимаю, что я напрасно нервничаю и что он еще вернется к разговору со мной. Так эта встреча ничем и не кончилась. Прямо от Хрипко, в большом возбуждении, я помчался к Л. А., который был один у себя в кабинете: рабочий день был окончен. Я все рассказал ему, предупредив, что я отказался, но наверняка они найдут кого-то для слежки за ним.

Л. А. отнесся ко всему этому чрезвычайно спокойно. Он объяснил мне, что все это очень обычно и что зря я так серьезно к этому отношусь. Сказал, что они могут вызывать меня даже на Лубянку и грозить не выпускать, пока не дам согласия. Но если твердо отказаться с ними сотрудничать, то в конце концов отстанут. И вообще к этому надо относиться спокойно. Я говорил, что никогда с ними дела иметь не буду.

С тех пор ни Хрипко, ни кто-либо другой меня не трогал, даже в связи с поездками за границу. Прошло 13 или 14 лет после разговора с Хрипко, но предложение В. М. встретиться с его шефом всколыхнуло во мне все прежние впечатления и страхи, и я резко дал ему понять, что сотрудничать с ними не буду. В. М. не появлялся довольно долго, может быть, пару месяцев, но в марте 1970 г. он снова зашел ко мне, как всегда очень любезный, осведомился, нет ли каких трудностей, как идут дела, и вновь заговорил о желании своего шефа встретиться со мной. Сразу и резко я повторил ему то же, что сказал раньше. *В. М. гарантировал мне, что о сотрудничестве не может быть и речи* и что его шеф настоятельно просит меня заехать к нему для знакомства. Он поручил В. М. привезти меня в любое удобное для меня время, и если я не желаю навлечь на него, В. М., гнев начальства, то хорошо

бы мне с шефом встретиться, так как он очень того хочет, причем без всяких целей, что В. М. вполне гарантирует. Деваться было некуда, и я согласился.

На следующий день утром В. М. на черной «Волге» ждал меня у Киевского метро и доставил в музей — по-моему, Дарвиновский музей им. Тимирязева, который расположен недалеко от Краснопресненского метро, в переулке, в здании старой полуразрушенной церкви, окруженной захудалым двориком. В музее оказался обширный и очень благоустроенный отсек с несколькими зарешеченными комнатами, хорошей мебелью и штатом молодых людей с характерной внешностью: типичных, но вместе с тем ничем не выдающихся — ни ростом, ни одеждой, ни цветом, какой-то усредненный тип молодого инженера или министерского чиновника: аккуратные, в меру модные, блондинистые, светлоглазые, среднего роста, вежливые — и при этом ничем не выделяющиеся. Мы прошли в большую комнату с массивным письменным столом.

В. М. привел своего шефа — Владимира Васильевича Петрова, пожилого человека, весьма вежливого, которого я, вспоминая, не отличил бы сейчас от нашего нынешнего заместителя директора по режиму М. А. Копылова.

В. В. был очень любезен и начал с обильных и напыщенных комплиментов в мой адрес, благодарностей за приезд и извинений. Затем начал объяснять, как трудно им ориентироваться в международных контактах, как сложно отличать настоящих ученых, с которыми надо сотрудничать, от засылаемых агентов, что здесь без помощи самих ученых они разобраться не могут, а они должны способствовать контактам, облегчать въезд в нашу страну настоящим ученым и т.д. Поэтому наши ученые должны понимать, какую нужную работу делает КГБ, и помогать им там, где их компетенции не хватает. Я же много ездил, многих знаю, знаю людей в своей области, и поэтому-то он и хотел со мной познакомиться.

Я отвечал, что все это понимаю, сотрудничаем мы только с настоящими учеными, которых знаем много лет и по работам, и лично, что все они очень хорошо расположены к нашей науке, много делают для ее популяризации на Западе, для установления контактов, что обо всем этом я уже говорил В. М. и всегда готов помочь в этом. Я назвал таких ученых, как Грабар, Саутэм, Гудмэн, которые очень много сделали для установления самых дружеских контактов с нами.

В. В. был очень доволен тем, что я понимаю важность их работы и уважаю ее, что мы легко нашли общий язык, и перешел к тому, что общение с иностранными учеными не так просто, что это представители вражеской страны, у них свои интересы, что всем им дают задания разведки, что мы (КГБ) должны это выявлять, а без помощи самих ученых этого не сделать, что у нас есть своя сеть за границей, которая тоже должна контактировать с выезжающими учеными. И он рассчитывает на мою помощь не в качестве советчика, а в качестве серьезного сотрудника, принимающего настоящее участие в их международной деятельности. И при этом упомянул о специальных заданиях, явках и паролях.

Я вежливо отказывался, выражая полное уважение к их работе и ссылаясь на полную свою неспособность к ней. И здесь началась очень долгая дискуссия, буксующая на одном месте. Я повторял: «Если я дружески расположен к человеку, я не могу относиться к нему по-другому, я не могу раздваиваться. Моя работа требует полной сосредоточенности. Если я буду знать, что помимо научной цели у меня есть еще какое-то задание, то я лучше вовсе не поеду за границу. Я, наконец, ничего не умею скрывать и не выдержу необходимости тайных дел».

В. В. упрекал меня: «Вы же советский человек, а не хотите помочь нам против врагов. Ведь это же наши враги. Ведь я же не предлагаю вам сотрудничать в институте, а только против наших врагов. Я не считаю ваши мотивы серьезными».

Время шло, а аргументы с обеих сторон повторялись и повторялись. В. М. сидел тут же и время от времени мягко уговаривал меня, удивляясь тому, что я так драматически отношусь к предложению шефа. Я думал только о том, чтобы у меня хватило терпения дотянуть до конца и не сказать чего-нибудь вроде «Я подумаю и скажу вам», что приведет к новому разговору.

В. В. перешел к новым доводам.

Он показал мне на объемистую папку, в которой, как оказалось, было мое дело с оформлением в заграничную командировку (конференция в Бельгии по белкам биологических жидкостей, совещания в Женеве в ВОЗ и в Лионе в МАИР по нашей работе на конец апреля — начало мая)...

«Вы талантливый ученый, вам необходимы международные контакты, а без нашей визы ни одна командировка не состоится. Я подписал вам поездку, но теперь не знаю, как и быть. Меня разочаровывает ваше отношение».

Я отвечал, что, конечно, контакты полезны, но они и трудны, и это их дело — подписывать командировку или нет, им это видней. Если меня пошлют, я поеду, не пошлют — тоже хорошо: будет больше времени для работы. Я ничего не прошу, это их дело — решать, ехать мне или не ехать.

«Вы быстро растете, у вас большие перспективы, вас наверняка выдвинут в Академию, а мы — очень могущественная организация» (последние слова я цитирую буквально).

Я отвечал, что вряд ли меня выдвинут в Академию, что никаких особых талантов у меня нет, что я просто работаю и, конечно, знаю, как могущественна их организация, и что это их дело — выдвигать или не выдвигать меня в Академию, я об этом не думаю.

«Ваша работа может быть выдвинута на высокую премию, а наше мнение очень важно, мы — очень могущественная организация».

Я опять отвечал, что не думаю, чтобы нас выдвигали на премию, что очень уважаю их организацию и что их дело решать, а я никак влиять на их решения не хочу.

Разговор никак не мог сдвинуться с места.

В. В. начал терять терпение и решительно сказал: «Вот вам бумага и пишите. Я буду диктовать». Я почувствовал облегчение, дождавшись наконец «расписки о неразглашении», и начал писать знакомую уже мне преамбулу. Но после формальной части «Дана мною ...» он стал диктовать фразу о моем добровольном согласии сотрудничать с КГБ под псевдонимом... Я не стал этого писать, разорвал начатый лист и бросил его в корзину. «Я не буду этого писать. Я же объяснил вам, что не могу сотрудничать с вами. У вас своя работа, а у меня своя». Это было где-то на исходе третьего часа нашей беседы. В. В. был крайне недоволен. Он прямо говорил, что я не советский человек, что они очень влиятельная организация, что они пересмотрят свое благожелательное ко мне отношение, что я должен еще подумать, прежде чем отказываться от работы с ними, тем более что ничего несовместимого с моими взглядами они, казалось бы, и не требуют.

Часа через три после начала разговора В. М. предложил провести меня в туалет. Туалет был под стать хорошей гостинице, а не полуразрушенной церкви, там, стоя рядом, мы продолжили беседу. Я упрекнул В. М.: «Зачем вы меня привезли сюда? Я ведь вам прямо говорил, что не надо этого делать». В. М., очень по-человечески недоумевая, отвечал: «Я не думал, что вы так к этому относитесь. Почему вы не хотите принять предложение В. В.? Ведь с нами работают и к нам ходят многие академики, и никто так к этому не относится (насчет академиков я цитирую буквально. — Г. А.). Я не хотел, чтобы так вышло. Ну мне-то не очень плохо, ну осечка в работе, бывает. А вы подумайте, ведь вам очень важно быть в хороших отношениях с нами».

Потом, подумав, он спросил: «Наверное, вы когда-нибудь раньше имели дело с кем-нибудь из наших, и, наверное, с какой-нибудь сволочью?» Он невольно подсказал мне очень убедительный и отчасти правдивый довод, и тут я согласился. «Да, было как-то давно». Он сказал, что раньше было много сволочей (или грубиянов? — Г. А.) и что теперь им это очень мешает.

После перерыва все началось с начала: советский ли человек, загранпоездки, Академия, премия — их (КГБ) роль во всем этом.

Наконец В. В. сказал, что он очень разочарован, я написал долгожданную «расписку», он выразил надежду, что я еще продумаю свою позицию, В. М. извинился, что машина уже ушла, а я заверил его, что прекрасно доберусь своим ходом.

И вот я оказался на улице, и один, и думал только о том, как хорошо, что это кончилось и что я не оставил никаких надежд на возобновление переговоров. Все остальное казалось мне совершенно безразличным.

Все свои обещания В. В. выполнил и даже добавил еще от себя, но об этом речь дальше.

А сейчас, вспоминая все это с самого начала, я думаю о том, почему отвращение и ужас возникли сразу же, еще при первой встрече с «могущественной организацией». Ведь я был тогда более советским человеком, чем сами эти чекисты. Когда мне было лет 14, еще в 1942 г., у меня неизвестно откуда возникла тяга к философии, о которой я тогда совсем ничего не знал. Я обменял книги Чехова на «Введение в философию» Челпанова и «Краткий философский словарь» у своего одноклассника, который для растопки печки пользовался книгами из шкафа эвакуированных соседей. Я увлекался тогда Марксом и Энгельсом, книги которых стояли в шкафу учреждения, где работала моя мать. Я часто дежурил с ней по ночам, а потом начальник подарил мне несколько томов Маркса и Энгельса. Я зачитывался ими, ко всем вопросам подходил только с классовых позиций, объяснял Онегина и Печорина исключительно с экономической точки зрения, политику презирал, так как смотрел в самую классовую суть того, что творилось тогда в мире. Так что с этой стороны никаких разногласий не было.

Чекисты во времена довоенные и военные были в ореоле особой романтической славы и почета. Книгами Макаренко мы все тогда зачитывались. Конечно, мы знали о 37-м годе, все это было нашим бытом, родители многих товарищей сидели, и мы не сомневались, что они были честными людьми, но это как-то не отражалось на нашей преданности и энтузиазме. Просто было четко известно, что иметь хоть какое-то, пусть самое отдаленное отношение к меньшевикам, эсерам или другой бывшей «оппозиции» — это преступление, так же как и работа за границей в прошлом или нечаянно сохранный книжка «троцкиста» или «бухаринца». Мы знали, что за «разговор» или анекдот — 10 лет, что подозрение в чем-нибудь или арестованные родственники — достаточное основание для ареста и ссылки, что срыв в работе идет как вредительство, и это были обычные нормы, вполне привычная атмосфера, в которой мы выросли, жили и не видели в ней ничего особенного. Тем более во время войны.

Термина «доносы» тогда, по-моему, не было в обиходе. И книги, и кино учили нас обращаться к чекистам как в самую высшую и справедливую инстанцию. Павлик Морозов был таким же несомненным героем, как Зоя Космодемьянская или сейчас — Гагарин. Не приходило даже в голову разобраться, в чем его, Морозова, героизм и к чему его пример призывает.

Не было никаких других желаний, кроме как стать нужным стране человеком. Так откуда же ужас и отвращение при первой же встрече со славным чекистом?

Я думаю, что ремесло шпиона или «информатора» (т.е. шпиона среди своих) — это грязная, противоестественная работа. В основе деятельности шпиона, или, более романтично, контрразведчика — обман доверия. И не случайно работа шпиона почти всегда связана и с любовными отношениями. Шпион всегда по-человечески предатель, а делать предательство своей профессией противно человеческой натуре, особенно в детстве, особенно в узком кругу — человек, становясь по отношению к своим друзьям потенциальным предателем, не может быть с ними в простых и открытых отношениях. Всё в человеке, особенно ребенке, противится этой роли, этому гнусному раздвоению, которое разрушает в человеке его цельную натуру, раздваивает его, подавляет страхом, ибо поделиться с кем-нибудь своей тайной никто не может — «могущественная организация» известна всем с детства.

Аппетит на людей авторитетных, работающих и перспективных у них особый. С каждым человеком моего или более высокого положения, с кем мне приходилось говорить на эту тему, они («органы») имели дело, причем и форма беседы — лесть, предложения, «стимулирование» и угрозы — почти не отличалась от той, что проводили со мной. Так же обычно не отличалась и реакция «уговариваемого», который «тупо» упирался или вился ужом и в конце концов ускользал. И последствия для отказавшихся были одинаковы. Особую роль в подобных обработках имеет фетишизм формул «советский человек», «государственные интересы», «вражеские разведки», которыми давят на жертву. Как будто быть просто честным человеком в отношениях с людьми — это государственная измена.

Зачем они с таким упорством вовлекают в свою деятельность людей, авторитетных в своих областях? Конечно, не для «информаторства», в этом у них недостатка нет и не будет, и для этого им не надо тратить столько сил и искусства.

Во-первых, для надежного контроля над поведением этого человека. Во-вторых, для полного, изнутри, подчинения его себе, для разрушения его как личности, лишения его собственного достоинства, без чего нет индивидуальности с ее нестандартным, неконтролируемым, а потому нежелательным поведением.

Ведь нельзя же допустить, что сугубо профессиональная организация, имеющая свои школы, свою специализацию, глубоко засекреченная, — будет привлекать для своей профессиональной работы людей случайных, необученных и, тем более, не желающих сотрудничать с ними. Нет, конечно. Ведь не можем же мы заставлять вагоновожатого участвовать в наших экспериментах, да еще «без отрыва от производства» и против его желания.

Просто если человек, уважаемый и авторитетный, дал расписку о «добровольном» сотрудничестве, имеет псевдоним, периодически отчитывается на явочных квартирах, да еще и получает плату в прямой или не прямой форме, — он перестает быть самим собой, у него отнято право на личные отношения, на тайну этих отношений, на дружбу, на доверие людей, на неприкосновенность внутреннего мира, на свободу мнений и поведения. Право же на свой внутренний мир, на личные отношения, на собственные взгляды, поступки (в пределах закона) и их неприкосновенность — неотъемлемое право человека, основа его личности и достоинства. Если оно «добровольно» отнято, то личность уродуется, разрушается, полностью контролируется «могущественной организацией», становится подотчетной ей во всем, что в принципе является неподотчетным и даже формально в общепризнанных декларациях провозглашается неприкосновенным. Такой человек может быть свободно допущен к ключевым позициям в обществе или спокойно выпущен за границу для своих деловых контактов.

Я думаю, что отделы КГБ, занятые «работой с населением», имеют своей зада-

чей именно создание широкой сети вовлечения людей в мнимое сотрудничество для установления широкой и надежной системы контроля над ними. Попутно происходит и выявление «неблагонадежных». Но собственно разведывательная деятельность к этой сети никакого отношения не имеет. А когда для нее требуются специалисты других областей, то для этого имеются штатные сотрудники.

Если же у кого-то хватает твердости и упорства, чтобы уйти от сотрудничества, то он демонстрирует тем самым свою нелояльность, становится «не нашим», его продвижение затормаживается, он лишается перспективы, его терпят до поры до времени и стараются без шума и скандала постепенно затереть.

* * *

События тем временем шли своим чередом. В мае 1970 г. я съездил в свою последнюю заграничную командировку — на конференцию в Брюгге, в ВОЗ и МАИР. Наша проблематика (иммунодиагностика рака, АФП, эмбриональные антигены) стала очень популярной, даже модной. Наши работы были на самом переднем крае. Интерес к ним и уважение были самыми настоящими. В Брюгге я встретил израильского ученого, советника ВОЗ М. Селу и хорошо поговорил с ним, бельгийца Христиана Деккера, своего старого знакомого, руководителя отдела иммунологии ВОЗ Г. Гудмэна, сотрудника того же отдела Д. Рове, П. Грабара — директора Института по изучению рака в Вильжуифе (Париж), и многих других.

Через несколько месяцев нашу работу по АФП (открытие и разработка на этой основе метода иммунодиагностики гепатом и тератобластом) выдвинули на Государственную премию (вместе с Н. И. Храмковой, С. Д. Перовой, Ю. С. Татариновым* и Н. И. Переводчиковой, Н. А. Краевским и И. В. Ассекритовой из Института онкологии Блохина). Эта же работа тем же авторским составом была представлена в Комитет изобретений и открытий в качестве открытия.

Примерно в то же время меня выдвинули в члены-корреспонденты АМН по специальности «экспериментальная онкология» на единственное выделенное место. Место это было «выбито» Барояном. Он говорил мне об этом, и я думаю, что это было действительно так.

Бароян в то время делал ставку на иммунологию и международные связи института, которые шли главным образом (но не только) по линии иммунологии (общей и опухолевой). Летом 1966 г. в институт приезжали Г. Гудмэн и М. Села, которые были встречены очень дружески и открыто. Бароян был с ними предельно любезен, откликнулся на все их желания, был очень гостеприимен и всепонимающ. От институтской иммунологии у гостей осталось самое лучшее впечатление, и вскоре ВОЗ стал выделять дополнительные деньги (валюту) на журналы и реактивы для наших иммунологических исследований.

Во время визита Гудмэна я предложил ему организовать работу по проверке диагностической ценности АФП-теста на сыворотках больных раком печени, которые можно собрать в Южной Африке, где частота этой формы рака в сотни раз выше, чем в Европе. Тогда можно было бы быстро решить этот вопрос, а провести такое исследование без помощи ВОЗ невозможно.

Гудмэн вполне положительно к этому отнесся, но поставил свое условие: «Мы организуем такую работу, но в том случае, если вы сами поедете в Африку. Мы создаем свой центр в Нигерии и должны подготовить там кадры на месте».

Зная, сколь неверное и неопределенное дело поездка за границу, я настаивал на присылке сывороток из Африки сюда, как на деле более реальном.

* Биохимик, тогда ректор Астраханского медицинского института им. А. В. Луначарского.

Гудмэн, как я не раз в этом убеждался, ничего не забывал, и в конце года я получил письмо от О'Конора из МАИР (которое тогда только еще организовывалось). В письме О'Конор ссылаясь на разговор с Гудмэном, интересовался, что и как можно сделать для предполагаемой работы. Он писал, что едет в Африку и заодно выяснит возможности и по интересующему нас вопросу.

В начале 1967 г. я получил от него очень возбужденное письмо, что он был в Дакаре, где Массиев* совместно с Грабаром уже ведут работы по иммунодиагностике рака печени, и что он приглашает меня как можно скорее приехать в Женеву, чтобы обсудить и начать предполагаемые исследования. Я опять ответил уклончиво насчет поездки и предложил договориться обо всем путем переписки.

Вскоре пришла телеграмма от Гудмэна: Барояна и меня срочно приглашали в ВОЗ для обсуждения совместной работы. Я отнес телеграмму Барояну без всякого энтузиазма. Но он сразу же воодушевился, сказал, чтобы я немедленно готовил документы, что мы поедем вместе. Действительно, все завертелось необычайно быстро, и я был оформлен молниеносно — за две или три недели. В начале марта 1967 г. мы с Барояном вылетели в Женеву, куда уже были приглашены Грабар и Уриель (директор и завлаб иммунохимии белка Института по изучению рака в Париже). Там мы встретились с Гудмэном и О'Конором, и была разработана программа международного эксперимента, о которой я упомянул выше и которой я здесь не хочу больше касаться, так как это увело бы сильно в сторону. Скажу только, что все развивалось отлично и привело к гораздо более широкой программе сотрудничества, чем было задумано вначале**.

Эту поездку пробил Бароян, полностью под свою ответственность. С этой поездки я стал вполне «выездной» — в том же году я один был в США, в следующем году в Африке и Франции (по программе ВОЗ — МАИР), в 1969 — в Англии и Франции (по той же программе), в 1970 — в Бельгии, Швейцарии и Франции (в качестве представителя ВОЗ и МАИР).

Совершенно несомненно, что Бароян способствовал моим выездам, а поначалу и пробивал их, о чем он сам мне не раз говорил, и это была правда.

Он развивал иммунологию в институте, сам став при этом главным иммунологом — председателем Научного совета по общей и прикладной иммунологии АМН (который он сам и создал), покровителем «Клуба иммунологов», объединявшего (неофициально) все серьезные иммунологические лаборатории Москвы, руководителем иммунологического центра ВОЗ, организованного в Институте Гамалеи.

Его деятельность всегда была многоплановой: он создавал самый сильный в Союзе центр по общей иммунологии, где усиливался сам, укреплял лаборатории иммунологов, которые не представляли для него никакой опасности (А. Е. Гурвич, Л. Н. Фонталин, А. Я. Фриденштейн, И. М. Лямперт, Кульберг, наша лаборатория), оттесняя тем самым влияние «китов» (Л. А. Зильбер, П. Ф. Здродовский, Г. В. Выгодчиков, П. А. Вершилова, Н. Г. Олсуфьев), которые своим авторитетом и весом в Академии сильно его связывали или могли связывать. Одновременно он активно усиливал международные контакты института, главным образом по иммунологической линии и, помимо научной пользы, приобретал вес и очень большую независимость от академического начальства — Отделения и президиума АМН. Он демонстративно игнорировал эти «инстанции».

* Рене Массиев (Rene Masseyeff) — в то время руководитель кафедры биохимии Дакарского университета в Сенегале.

** См.: Г.И. Абелев. 50 лет в иммунохимии опухолей. М., 2001.

История его прихода и укрепления в институте — опора на академиков и их принижение, подчинение института своей власти, разгон различных оппозиций и установление неограниченного господства в большом и очень разношерстном коллективе, где работали такие «неуправляемые» ученые, как Л. А. Зильбер, В. Д. Тимаков, П. Ф. Здродовский, Х. Х. Плanelьес, — это интересная и поучительная история, которая требует специального изложения и здесь увела бы меня в сторону от описываемых событий.

В 1970 г. Бароян вел переговоры с Гудмэном об организации на базе института иммунологической школы ВОЗ, которая планировалась на следующий — 1971 — год.

Такова была общая атмосфера в институте в конце 1970 и начале 1971 года, когда работу нашу выдвинули на Государственную премию, а меня в члены-корреспонденты Медицинской академии.

Конечно, мне было все это очень приятно, и особенно тем, что ни того, ни другого я не добивался, ровно ничего не делал для этих выдвижений, никого не просил, ничего не организовывал. Льва Александровича у нас уже не было, раньше он «тянул» меня вверх. Сейчас успех приходил сам, заслуженный только работой, заслуженный вполне честно, без обхода или «оттирания» хоть кого-нибудь, имеющего отношение к работе. Все делалось честно и открыто, и больше всего я боялся, что этот честный ход событий может нарушиться при прохождении представления по инстанциям, где принято «обрезать исполнителей» и оставлять только «руководителей», как было недавно с Государственной премией по саркоме Рауса, когда «отрезали» И. Н. Крюкову — основного автора работы и оставили только Л. А. Зильбера и Г. Я. Свет-Молдавского*.

Также опасно было нарушить этические нормы в процессе «предвыборной кампании» по отношению к Ю. М. Васильеву и В. В. Городиловой, которые были выдвинуты на то же место члена-корреспондента.

При выдвижении работы на Ученом совете института я отстоял весь авторский состав, хотя Бароян настаивал на том, чтобы выдвинуть только меня и Татаринова. Когда работа была уже передана в Комитет по премиям, я поговорил с Н. Н. Блохиным — председателем медицинской секции Комитета и вручил ему официальное письмо, в котором объяснял неделимость авторского коллектива в этой работе и писал, что лучше вообще не получить премию, чем получить ее в неполном составе. (Когда в 1963 г. наша с Л. А. Зильбером книга** была выдвинута на Ленинскую премию, Комитет по премиям предложил Л. А. изменить формулировку — выдвигать на премию не книгу, а совокупность его, Л. А., работ. Зильбер отказался принять премию один, хотя это было бы вполне справедливо. Об этом я узнал несколько лет спустя.)

Со своим основным конкурентом по выборам в Академию — Юрой Васильевым — мы сразу же договорились, что любой исход не отразится на наших отношениях, и условились, что в случае его перевеса на первом круге голосования я сниму свою кандидатуру, а в случае моего — он. Соответствующие заявления мы должны были вручить своим «доверенным лицам», я — Барояну, а он — Блохину или Шабалу***.

* В 1967 г. Государственная премия за открытие патогенности вируса саркомы Рауса для млекопитающих была присуждена Л. А. Зильберу (посмертно) и Г. Я. Свет-Молдавскому.

** Л. А. Зильбер, Г. И. Абелев. Вирусология и иммунология рака. М., 1962.

*** Л. М. Шабал — академик АМН СССР, основоположник отечественной экспериментальной онкологии, учитель Ю. М. Васильева.



На конференции отдела. 1970-е гг.

Слева направо: Б. Д. Брондз, В. С. Цветков, Н. И. Храмова (Куприна), Г. И. Абелев, А. М. Оловников, А. И. Гусев, Н. В. Энгельгардт, О. М. Лежнева, С. Д. Перова, Г. И. Дризлих, Д. А. Эльгорт

Когда я принес Барояну это заявление, он ничего не захотел слушать, сказал, что это место он выбивал не для Васильева (и вообще — кто он такой, Васильев?!), что он будет драться до конца и «пробьет» меня. Он сказал, что ему уже звонила Городилова и предлагала выдвигать меня по биохимии, но он отказался. Все это была чистая правда. Бароян хотел провести меня в Академию. Я рассказал об этом Юре, но у него состоялся примерно такой же разговор со своим шефом. Мы решили подождать до выборов. Впоследствии академик В. В. Закусов, с которым я работаю в редколлегии «Бюллетеня экспериментальной биологии и медицины», говорил мне, что моя кандидатура прошла без каких-либо возражений при предварительном обсуждении в соответствующей комиссии Академии, чего обычно не бывает, и для всех был полной неожиданностью мой самоотвод, речь о котором ниже.

Сессия АМН состоялась в мае или июне 1971 г. (я никак не могу вспомнить точно, когда это было). Бароян был на сессии и, кажется, проявлял большую активность. Выборы проходили сразу же после сессии. В один из дней накануне выборов мне позвонила Александра Михайловна — секретарь Барояна и просила срочно прийти к Барояну и ждать его: он выехал из ЦК или министерства и велел разыскать меня во что бы то ни стало. Я зашел к заместителю директора Д. Р. Каулену узнать, что произошло. Он был как-то смущен, сказал, что сам ничего не понимает, но произошло что-то важное, и Бароян срочно едет сюда, хотя рабочий день уже кончился. Я понял, что с выборами дело сорвалось, и стал ждать Барояна. Он приехал очень возбужденный, долго курил, как бы волнуясь перед разговором, а потом сказал, что он сделал все что мог, но что-то произошло, чего он сам не по-

нимает, и мне не надо участвовать в выборах (или что-то в этом роде). Я сразу же сказал, что очень благодарен ему за все, что он для меня сделал, я знаю, что он добивался моего выдвижения и сделал все что мог, и если нужно, я сам сниму свою кандидатуру. Он заметно обрадовался, сказал, что это нужно, что все равно ничего не выйдет, и тут же продиктовал мне довольно нелепое заявление, будто я, «узнав, что место дано по экспериментальной онкологии, решил снять свою кандидатуру, как не соответствующую данной специальности». Бароян спрятал мое заявление в боковой карман с облегчением. Я просил его не расстраиваться, сказал, что сам я к этому отношусь очень спокойно, и спросил его только, в высокой ли инстанции было принято это решение. Он сказал, что в самой высокой, несмотря на то, что он заранее во всех инстанциях согласовал мое выдвижение. Он, видимо, действительно не понимал, в чем дело, и на него был оказан резкий нажим сверху. В разговоре Бароян как-то вскользь упомянул, что он обещал взять у меня отказ и знал, что я не стану настаивать.

Затем он начал спрашивать меня, не сделал ли я чего-нибудь неосторожного за границей, нет ли за мной чего-то, чего он не знает, а он должен знать, чтобы «устранить», сказал, что я должен вспомнить свою оплошность и все ему сказать начистоту.

Я, конечно, помнил свой визит к В. В., его обещания на случай выборов в Академию и рассказал об этом Барояну. Выслушав, он совсем успокоился, сказал: «Какой идиотизм вызывать таких людей! Но это не могло повлиять на выборы, это может повредить для заграничных командировок». Потом добавил несколько успокоительных комплиментов, на чем мы и расстались.

Выборы продолжались. Васильев проходил наверняка, но перед самым голосованием место было снято и передано в другое отделение.

То же произошло и с местом по вирусологии, на которое конкурировали В. И. Агол и Т. И. Тихоненко.

Значит, есть и такой прием — просто снять место перед выборами. Раньше в Академии такого, кажется, не было. После окончания сессии Бароян говорил мне, что это он добился снятия места, что он его получил, он его и снял, и место по вирусологии тоже. Не думаю, чтобы это было правдой.

Я действительно очень спокойно и даже с некоторым удовлетворением отнесся к этой истории. Я был уверен, что это — дело рук «Могущественной Организации», и не хотел бы получать поддержку от нее. Такую цену я готов был спокойно платить за то, чтобы они ко мне не лезли, за сохранение самого элементарного человеческого достоинства. Я был доволен, что в этой истории нигде не сорвался с простых человеческих позиций.

Я продолжал работать — летом, как всегда, было спокойней. В начале июля мне нужно было ехать на конференцию в Кампалу (Уганда), где Национальный раковый институт США, МАИР и Макереровский университет устраивали рабочее совещание по первичному раку печени. Меня пригласили сделать вводный доклад по АФП при раке печени, расходы они брали на себя. Конференция была для нас очень важной. Она должна была наметить дальнейшие совместные исследования в Африке и обсудить текущие работы. Мы участвовали в совместном с МАИР и Центром эндемий Берега Слоновой Кости проекте по эпидемиологическому обследованию населения Берега Слоновой Кости АФП-тестом на предмет раннего выявления рака печени. Эта программа была выработана, когда мы с Татариновым и Туинсом из МАИР были в Абиджане. Мы готовили тест-системы и методику для массового обследования (10 000) населения, работа была начата два года назад. Берег Слоновой Кости порвал с нами в 1969 г. дипломатические отношения,

как раз накануне того, как Гусев и Наташа Энгельгардт должны были приехать туда из Дакара, где они работали в лаборатории Массиева.

В Кампале я должен был увидеться с Туинсом и другими участниками этой работы, что было необходимо. У меня были готовы новые предложения и планы по сравнительному изучению фонового уровня АФП в районах высокого и низкого риска по раку печени, и я был уверен, что эти планы мы сможем реализовать в международной программе и получить деньги на их осуществление. В конференции должны были участвовать О'Конор, который уже работал в Национальном раковом институте США в Бетезде и с которым у меня сохранялись самые лучшие отношения, Фогель и Альперт (из США), много работавшие в Африке по раку печени, Линселл из МАИР (Найроби) и др. Участие в ней дало бы новый разворот нашей работе в Африке.

Министерство тоже было заинтересовано в этом, так как наша работа устанавливала контакты со странами, с которыми Минздрав раньше почти не сотрудничал и куда наших вообще практически не пускали — Сенегал, Уганда, Нигерия, Конго (Киншаса). Кроме того, это была одна из немногих действительно работающих программ среди множества мнимых — и в министерстве это хорошо знали. Министерство присоединило ко мне Татаринова, организаторы конференции согласились, и нас оформляли полным ходом. В эти дни у нас работал американец Артур Левин, который приехал из Швеции, где он провел год или два в лаборатории Клейна, и после нас должен был ехать в Африку, сначала на ту же конференцию, что и я, а потом в Найроби к Линселлу для длительной работы. Левин выезжал за день до нас, и мы должны были с ним встретиться в Кампале через пару дней после его отъезда.

Впервые, начиная с визита Левина, порядок приема иностранцев заметно изменился. К нам был приставлен заведующий научно-организационным отделом А. С. Эльсон, хорошо знавший английский и несколько лет работавший по линии ВОЗ врачом в Африке. Эльсон приводил Левина в лабораторию и уводил, ни на минуту не оставляя нас наедине, присутствовал не только при работе и обсуждениях, но и во время обеда, даже провожал Левина в туалет. Такого у нас еще не было. Ясно: что-то щелкнуло наверху, и я полагал — персонально по отношению ко мне.

В других институтах этого не было.

Левин уехал за день до моего предполагаемого отъезда. Он знал, что у нас уже заказаны билеты. Но окончательный ответ министерства все время откладывался: на полдня, еще на полдня, и наконец в пятницу в конце дня было сказано, что окончательного ответа еще нет, но скорее всего поездка не состоится.

Я не верил в возможность такой нелепости, идущей во вред не только нашей работе, но и интересам министерства. Этот отказ задел меня и вывел из равновесия гораздо больше, чем предыдущая история. Это был второй «привет» от В. В., последний раз подтверждающий, что никакие государственные интересы «их» не трогают, а руководят ими лишь злобная мстительность и собственные кухонные соображения.

Через некоторое время я взял отпуск и целиком занялся сыном: он поступал в институт, что занимало меня гораздо больше собственных, в общем-то, не очень принципиальных для меня неприятностей.

Из отпуска я пришел уже в сентябре, как раз накануне открытия ВОЗовской школы по иммунологии, которая начиналась в конце месяца. Подготовкой школы занимались сам Бароян с Эльсоном. Состав слушателей был резко ограничен. Готовились списки с большим отсевом. Мотив: школа будет в Голубом зале, вместимость

его меньше 50 человек, из них человек 20 — иностранцев, столько же наших. Для такого события, как международная школа — первая у нас в стране, — и при громадном интересе к иммунологии, особенно среди молодежи, организация школы была просто обкрадыванием этой молодежи. Гудмэн же постарался сделать состав лекторов превосходным: Элвин Кабат из США — классик иммунохимии, блестящий ученый и лектор, Майкл Села из Израиля (он ехал от ВОЗ), Джон Хамфри и Бриггитт Асконас из Англии — крупнейшие иммунологи, Макела из Финляндии, Мёллер из Швеции — классики клеточной иммунологии, Рове из Швейцарии, Штерцль и Ржига из Чехословакии. Никогда еще у нас в стране не собиралось такое соцветие первых иммунологов мира. Причем все они — прекрасные лекторы и обаятельные люди, как и сам Гудмэн, который всех собрал, чтобы сделать для нас (большинство из которых никогда не выпускали на международные конференции) по-настоящему большое и хорошее дело. На школу приехал и Артур Левин.

Но подготовка к школе шла, как я уже говорил, в какой-то нервной и настороженной обстановке. Незадолго до начала школы кто-то, кажется Фонталин, сказал мне, что Бароян распорядился, чтобы никаких посещений лабораторий иностранцами не было. Это была бы чудовищная нелепость и совершенно невозможное, демонстративное хамство. Ведь ученые приезжают, чтобы поговорить о работе, обсудить методы и результаты, а не только читать друг другу лекции с кафедры. Не пригласить коллегу в лабораторию — это не только сделать его визит бесполезным более чем наполовину, но открыто продемонстрировать ему свое недоверие, нежелание показать свою работу, боязнь и недоброжелательство. Зачем же тогда приглашать таких ученых?

Вскоре у меня состоялся разговор с Барояном. Он просил меня еще раз предупредить наших иммунологов, чтобы не было никаких эксцессов и осложнений. Я говорил, чтобы он об этом не беспокоился, что все мы порядок знаем и его не подведем, но только не нужно создавать заведомо ложных положений, источников недоумений и ненужных разговоров, а надо обязательно предусмотреть в программе определенное время для посещения лабораторий, и тогда все будет просто и естественно. Бароян наотрез отказал, подчеркнув, что все общения будут только во время занятий, т.е. — лекции и вопросы. Никакие мои резоны не помогали, но ему и ни к чему были резоны — он знал их и без меня. Он явно боялся предстоящей школы и совсем не был ей рад. Чувствовалось, что он хотел скорее ее «спихнуть», никак не афишировать, скорее даже демонстрировал перед своим штатом снисходительно-пренебрежительное отношение к ней.

Школа началась. Гудмэн приехал не сразу. Мы даже не были допущены встречать лекторов, что является элементарным проявлением вежливости к приезжающим коллегам во всем мире, только не у нас. Организована работа была так: иностранцев привозили на автобусах к 10 часам и увозили в 16 часов, сразу же после конца лекций. При этом в зал с двух концов буквально врывались сопровождающие и кричали: «Скорее! Скорее! Автобусы ждут! Опаздываем на ужин! Опаздываем в театр (или на экскурсию)!» — и быстро выводили иностранцев из зала, так что поговорить и пообщаться почти не было никакой возможности. Перерыв был только на обед, причем иностранцы в основном обедали в нашем кафе, где присутствовало много начальства, а мы ходили в столовую. Если во время лекции в коридоре оставался кто-либо из наших с иностранцем, их немедленно загоняли в аудиторию. Бароян заявил Асконас* и Дризлих**, которые решили побеседовать в коридоре во

* Бриггит Асконас — немолодая англичанка, крупный, международного класса, ученый.

** Г. И. Дризлих — младший научный сотрудник лаборатории А. Е. Гурвича

время лекции, что они должны идти в зал и не пропускать лекций, а в зале прочел им настоящую нотацию. Неудивительно, что с самого начала возникли неестественность, напряженность и недоумение. Со многими лекторами мы были хорошо знакомы, находились в дружеских и непринужденных отношениях, а здесь не могли даже по-человечески поговорить. Нас спрашивали, можно ли пойти в лабораторию. Мы дали понять, что если они не настоят на этом, то времени на посещение лабораторий не будет. Бароян вызвал меня на следующий день после начала школы и спросил: «В чем дело? Что ты надулся?» (или что-то в таком же хамском духе). Я отвечал, что если не будет посещения лабораторий, то школа провалится.

Поняв, наконец, в чем дело, Рове, который замещал Гудмэна и был «старостой» иностранцев, на третий день школы собрал маленькое совещание, где присутствовали и мы, и заявил Барояну, что, хотя школа проходит хорошо, необходимо предусмотреть «обсуждение специфических вопросов в маленьких группах — *specific questions in small groups*». Рове был очень доволен, что так прямо и официально все высказал Барояну, но притом так вежливо и интеллигентно, что до Барояна не сразу дошло, о чем идет речь. Через некоторое время было дано указание провести в конце школы посещение некоторых лабораторий, для чего специально отвели очень небольшое время. При посещении обязательно присутствовал «представитель»: у меня во время беседы с Гудмэном, Кабатом и, кажется, Рове — Каулен, у Брондза — Эльсон, у Гурвича — Эльсон. Охрана института лютовала. Беседа у Гурвича, где были Хамфри* и Асконас, несколько затянулась. Часов в 5 дверь настежь распахнулась и «стрелок» Живоглядов заорал: «Немедленно освобождайте помещение! Рабочий день кончился! Сейчас же уходите!» Все опешили. Гусев выскочил в коридор и там нашел какие-то подходящие слова. Вахтер оправдывался, ссылаясь на строгие указания начальства, за исполнение которых с них спрашивают. Иностранцы уже ничему не удивлялись.

Как-то утром в автобусе, который шел к институту, я столкнулся с Хамфри и венгром — слушателем школы. Хамфри был очень доволен, обрадовался, увидев меня: «А мы ускользнули из-под караула!..» Он начал мне рассказывать, что вчера вечером Гудмэн и Села пошли в синагогу, там было очень много народа, и все веселились, а у них в ресторане «Будапешт» играл оркестр, который исполнял на заказ и специально для них еврейские песни, и все было так здорово. Я же с большой опаской поглядывал на сидящего прямо перед нами заместителя директора В. Е. Коростелева и очень надеялся, что он не знает английского.

Очень скоро я был вызван к Барояну, не помню уже по какому делу. Ему уже было известно о походе в синагогу, и думаю, что не от Хамфри. «Эти свиньи Гудмэн, Кабат и Села надели ермолки и отправились вчера в синагогу. Что, они не понимают, какую свинью мне подкладывают?»

Когда приехал Гудмэн, он захотел поговорить со мной как с руководителем финансируемого им референс-центра ВОЗ и, увидав, что это невозможно, дважды или трижды обращался к Барояну с просьбой помочь организовать встречу, но не получал вразумительного ответа. Наконец, поступило директорское распоряжение — беседу провести у него в кабинете в следующем составе: Гудмэн, Хамфри, Кабат, Мёллер (не уверен, но, кажется, Мёллер присутствовал) и Левин, а с нашей стороны Гурвич, Кульберг, Фонталин, Брондз и я. Конечно, при Барояне, Каулуне и Эльсоне. Не помню точно смысла разговора — смысла, по-моему, никакого не было, но отчетливо помню напряженную обстановку и хамски-фамильярный тон Барояна по отношению ко всем, его декламации, произносимые как будто специ-

* Иммунолог-классик, директор всемирно известного Института Mill-Hill в Лондоне.

ально для кого-то третьего, здесь же присутствующего. И это, несомненно, так и было. Когда эта нелепая беседа закончилась и мы все встали, чтобы уйти, Бароян велел нашим остаться. Как только иностранцы вышли, он заявил: «Испортили здесь воздух и удалились!» — и дальше произнес грубейшую тираду в адрес гостей, а про Левина сказал: «А этому вообще в Одессе на Привозе семечками торговать». Левин был маленький еврей, очень вежливый, предупредительный и искренний человек. Мы всё это выслушали в мрачном молчании. Никто из нас не вступился за наших гостей. Может быть, из-за внезапности всех этих перемен. Ведь Бароян, по крайней мере с иностранцами, был всегда совсем другим. Четыре года он был заместителем генерального директора ВОЗ. Я был с ним в гостях у Гудмэна в Женеве, где он был в центре внимания, весь вечер очень веселил собравшихся и был полным джентльменом. Безусловно, что-то произошло в высших сферах, и он совершенно вызывающе демонстрировал свое высокомерное и пренебрежительное отношение к приезжим.

Вообще Бароян был взбудоражен, и его все время заносило. Во время лекции Кабата, устроенной для всех сотрудников в конференц-зале, он представлял лектора как «своего старого друга Кобата» (почему-то он путал фамилию своего старого друга), а когда кто-то, не дождавшись конца лекции, стал пробираться к выходу, он закричал, что лекция еще не кончена, чтобы все оставались на местах, а двери чтобы заперли с той стороны.

Во время лекции Брондза он не давал ему договорить и отвечать на вопросы, так что председательствующей Асконас пришлось очень энергично вмешаться.

Так прошла эта самая значительная в Союзе Международная школа ВОЗ. Много в поведении Барояна прояснилось уже во время школы. В один из дней меня и Иту Михайловну Лямперт, заведующую лабораторией стрептококковых инфекций, кто-то разыскал в столовой: мы должны были срочно явиться к Барояну. Я только что узнал от И. М., что ее младший научный сотрудник В. А. Бурштейн подал заявление на отъезд в Израиль и просит характеристику для ОВИРа. В то время такие случаи в научных институтах были еще очень редки и сопровождались увольнением с работы и осуждением как «предателя Родины», требованиями лишения степени и, конечно, отмежеванием от «предателя» наличных евреев. Директора за такие случаи, надо полагать, тоже не хвалили.

Бароян был очень мрачен, сказал, что ему сообщили, будто Бурштейн хочет ехать в Израиль, он не поверил этому, но Бурштейн действительно принес просьбу о характеристике, передал ее через секретаря, а с ним говорить он не стал (или не захотел). Бароян дал понять, что в случае отъезда Бурштейна для всех будут большие неприятности, и просил нас поговорить с ним. Я спросил, останется ли Бурштейн на работе, если возьмет заявление обратно, и он гарантировал это.

Разговор с Бурштейном состоялся в тот же вечер. Говорили в основном мы с Гурвичем, а И. М. подошла позже.

Надо сказать, что И. М. всегда хорошо, и даже с большим перебором, относилась к Бурштейну. Он был довольно ограниченный, не очень знающий, но весьма настырный сотрудник, явно считавший, что его обделяют и не дают хода по национальным соображениям, хотя И. М. всячески его тянула — тем более что в ее лаборатории он был одним из двух «мальчиков», а в преимущественно женском коллективе института «мальчики» ценились высоко как не обремененные домашними делами и поэтому более перспективные по части научной карьеры.

Мы с Гурвичем говорили В. А., что он, наверное, не очень представляет себе требования к научным работникам на Западе, что вряд ли там он сможет рассчитывать на аналогичное положение, что он напрасно думает, будто на Западе его

ждет легкая и блестящая карьера. Ведь все мы приспособлены к совершенно другой научной жизни, наш здешний опыт очень мало полезен для адаптации к науке на Западе, и очень мало кто из нас, и он в том числе, будет соответствовать требованиям западной науки и стилю работы. Мы действительно так считали, да и сейчас так считаем. Мы сказали ему, что вряд ли он передумает, но он должен помнить, что многим обязан И. М., которой предстоят теперь большие неприятности, и институту, где он вырос, и что в любом случае он должен пойти к Барояну и, несмотря ни на какую его реакцию, сказать, что он благодарен институту, сожалеет о возможных неприятностях для директора и идет на отъезд по сугубо личным мотивам.

Бурштейн, кажется, ходил к Барояну, но тот, видимо, уже принял решение и говорить с ним не стал.

Ситуация стала ясной. Барояну указали сверху (из министерства или райкома?) — или он ожидал указания — на то, что он у себя в институте дал ход евреям (а большинство заведующих иммунологическими лабораториями у нас евреи), что и с иностранцами он утратил бдительность (лекторы школы — Гудмэн, Кабат, Асконас, Левин — тоже евреи, а Села — из Вейцмановского института в Израиле), и результат налицо — отъезд Бурштейна. Случилось ли это на самом деле, или он только опасался такой возможности — несущественно. Для Барояна важно было этот миф (подкрепляемый серией анонимок*) в корне и решительно развеять. Третирирование школы и подчеркнутое хамство иностранцам, пресечение всех контактов, умышленный курс на ее срыв и пышные декламации в присутствии тех, кто будет (или возможно будет) давать информацию о его поведении — все это было вызвано не только испугом, это было намеренной линией поведения, рассчитанного на доклад начальству: на развеяние мифа о покровительстве «сионистам» и утрате бдительности. Подрыв международных связей был здесь не так важен, как мнение более близкого начальства, и чем грубее и нелепее Бароян себя вел на школе, тем, ему казалось, было лучше.

Стало ясно, что школа — лишь первый шаг, а дальше неизбежен удар, обставленный с максимальным шумом, по «собственным» евреям, и особенно по тем, которых он сам выдвигал, т.е. по иммунологам и по мне. Мне было ясно, что я попаду в центр его внимания, поскольку одно серьезное предупреждение в связи с моим выдвижением в члены-корреспонденты он уже получил. Ясно было, что Гурвич, которого к тому времени он уже восстановил в должности заведующего, тоже в стороне не останется. И хотя О. В., несомненно, антисемитизмом не отличался, теперь он должен был прослыть самым ярким антисемитом и «черным директором», — это было ему необходимо для стабилизации своего положения. А никакие принципы его не связывали. У него был лишь один принцип — любую ситуацию использовать для собственного укрепления, а в тактике — не ждать указаний сверху, а всегда опережать их.

Он очень любил цитировать изречение Бисмарка: «Нет постоянных друзей и врагов, есть обстоятельства».

События между тем развивались. Для увольнения Бурштейна Бароян избрал ранее проверенный им в «деле Гурвича» способ — избрание по конкурсу. Уволь-

* Одну из них он мне показывал — об иммунологическом клубе: «Это сионистское собрание», «а потом они едут к Фриденштейну пить чай и вести сионистские разговоры». Замдиректора Каулен и Мороз были тоже причислены к евреям, а Фонталин назван Фонталиндером.

нение вполне законное, сделанное притом руками Ученого совета и предоставляющее широкие возможности публичного обсуждения. У большинства сотрудников в институте сроки переизбрания были сильно просрочены, так что почти каждого можно было поставить на конкурс на вполне законных основаниях. Обычные конкурсы, без тайных целей, при Барояне почти не проводились. Но здесь, как назло, Бурштейн совсем недавно был переизбран по конкурсу. Пришлось объявить не вполне законное досрочное переизбрание на новый срок, которое по регламенту допускается либо в связи с крупной реорганизацией лаборатории, либо в связи с несоответствием сотрудника занимаемой должности. В практике такие досрочные конкурсы почти не применялись. Помимо Бурштейна, для соблюдения формы, пришлось назначить на досрочное переизбрание и других сотрудников лаборатории Лямперт. Увольнение Бурштейна должно было мотивироваться не его желанием выехать в Израиль, а его непригодностью для научной работы; для этого прежде всего нужна была отрицательная характеристика от научного руководителя (опять не своей волей, а чужими руками!). Ита Михайловна не соглашалась дать плохую характеристику Бурштейну, но Бароян кричал на нее, угрожал разгоном лаборатории, передачей в Институт ревматизма, давил на сотрудников, которые также требовали от нее дать нужную характеристику. В конце концов И. М. сдалась и донесла к старой характеристике, что в последнее время Бурштейн плохо или невнимательно относился к своим обязанностям.

Все было готово для обсуждения на Ученом совете — он был назначен на 22 октября 1971 г., пятницу.

Было совершенно ясно, что этот Совет будет спектаклем, в котором главные роли отведены евреям-иммунологам, и что по мне, как «особо отличенному» Барояном, придется главный удар, не меньший, чем по Лямперт. Это должен был быть издевательский показательный еврейский спектакль, чтобы о нем говорили по всей Москве, и ни у кого не осталось бы мысли, что директор — покровитель евреев.

Бароян не говорил со мной в этот период.

Ни у меня, ни у Гурвича не было ни малейшего желания участвовать в этом представлении. Каждый пережил достаточно унижений, и воспоминания о них были ещё свежи. С другой стороны, мы совсем не хотели вступать с Барояном в схватку на национальной почве. Мы оба были по существу равнодушны к проблеме национального самосознания, и еврейские дела занимали нас лишь со стороны нарушений гражданских прав, постоянно происходящих со времен «космополитизма» и «дела врачей» (1947 и 1953 гг. соответственно). Нас волновали судьбы молодых людей, которые коверкались этой идиотской политикой, направленной против своих же граждан. Мы не считали разумной и достойной позицию «втискивания» себя в национальные рамки и не видели выхода из положения в выезде в Израиль. Все же, что творилось в то время вокруг Израиля, было вопиюще несправедливым и вызывало вполне естественное возмущение и сочувствие к этой стране, вокруг которой бесновались злоба, политиканство и предательство.

Но одно дело — собственное отношение к национальному вопросу и совсем другое — публичные покаяния, заверения в своей преданности «антисионизму», подписывание соответствующих писем («Руки прочь, Голда Меир, от советских евреев!»), проведение еврейских пресс-конференций по телевидению и т.п.

Национальное самоопределение — сугубо личное дело каждого гражданина, сфера его собственного «я», никто не вправе вмешиваться в эту область, особенно официальные лица. Требовать от еврея публично высказывать свое отношение к вопросу собственной национальной принадлежности, да ещё в заведомо опреде-

ленных, предрешенных формулах — есть прямой акт дискриминации, т.е. презумпции вины, различения, которое предполагает право «нееврея» требовать от еврея отчета о лояльности.

Я с острой ненавистью чувствовал, что никакого права требовать от меня публично выворачиваться наизнанку у Барояна нет и не может быть — ни в вопросах национальных, ни в каких-либо других. Впервые я четко осознал, что национальный вопрос для меня — это вопрос человеческого достоинства.

Участвовать в барояновском представлении было ниже низкого, и надо было либо вступать с ним в борьбу (в данной ситуации с национальных позиций), либо просто не прийти. Мы с А. Е. Гурвичем долго колебались, но накануне Совета решили не ходить на него. Я прекрасно понимал, что это может отразиться на отделе и на сотрудниках. Но бывают ситуации, когда торг невозможен. Это был край. А кроме того, как бы я ни подыгрывал Барояну, по мне он должен был ударить в любом случае.

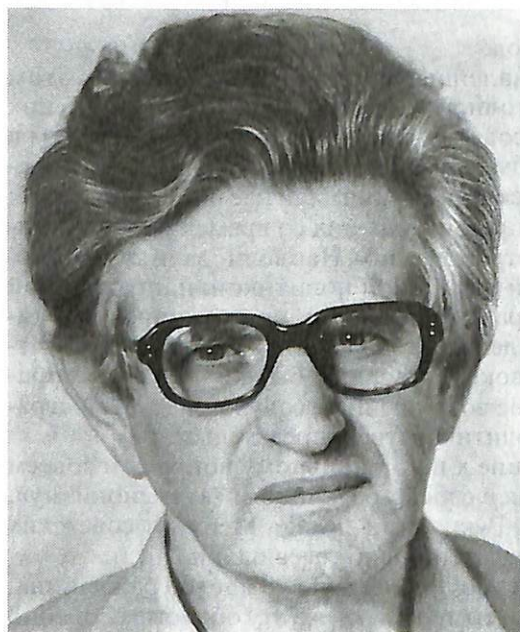
Наши предположения относительного планируемого спектакля подтвердились: по секрету нам передали, что он обещал завтра заставить говорить Абелева и Гурвича. Мы решили не приходить, хотя понимали, что это тоже не очень достойная позиция и что наше отсутствие только подольет масла в огонь.

Я обещал А. Е., что завтра с утра пойду к врачу (меня постоянно мучили головные боли), чтобы не быть дома, откуда могут «взять» на Совет, и попытаюсь получить бюллетень — для формального оправдания. Но я никуда не пошел, стал писать дома отзывы на статьи из редколлегии. Скрываться из дома мне казалось уж совсем унижительным. У меня и в самом деле сильно болела голова, и могу я, в конце концов, пропустить один день и поработать дома — тем более, что совсем недавно у меня просто срезали приказом Барояна 37 дней неиспользованного отпуска. Программа Совета тоже не требовала моего обязательного присутствия — обсуждались

итоги соцсоревнования между институтами (здесь у нас было все в порядке) и конкурсные дела, но наши сотрудники на конкурс не шли. Против обыкновения на этот раз приглашались (явка обязательна) не только члены Совета, (где евреями были лишь я и Лямперт), но все заведующие лабораториями — и среди них Гурвич, Фриденштейн, Каган, Хесин, Кульберг, Гершанович и др. — для более широкого выбора.

Я остался дома, Гурвич пошел в поликлинику выдирать больной зуб, а затем в библиотеку.

Совет состоялся в 11 часов. Бароян при желании вполне мог «не заметить» нашего отсутствия, но он обнаружил, что меня нет, еще до начала Совета и тут же поднял тревогу. Он срочно вызвал Гусева и Энгельгардт — моих ближайших сотрудников и стал их допрашивать. Говорил ли Абелев вчера, что не придет? Где он? Где он живет? Какой у него телефон?



Арон Евсеевич Гурвич (1918–1987)

Они отвечали, что я ничего не говорил (так оно и было), что у меня часто бывают сильные приступы головной боли со рвотой и спазмами, что последнее время я себя плохо чувствовал и, наверное, опять случился приступ, так как обычно я всегда предупреждаю, если не буду в лаборатории. Телефона же у Абелева нет, и живет он очень далеко, на Рублевском шоссе, причем точно они даже не знают адреса.

Директор потребовал от Гусева, чтобы тот немедленно взял такси и привез меня. Гусев говорил, что это займет много времени, что найти меня в новом районе трудно. Бароян настаивал. Вызвав Гусева и Энгельгардт к директору, секретарь его Александра Михайловна одновременно передала в отдел распоряжение всем сотрудникам срочно прибыть в кабинет Барояна (или быть готовым к вызову?). Но вызов был вскоре отменен, и Гусев за мной не послан. У Барояна возник новый план — всякая ситуация должна быть ему на пользу!

О том, что было на Совете, я знаю по рассказу Фонталина и Гершановича.

Сначала выступила Вершилова, незадолго до того выбранная в академики (по-моему, на тех же выборах, где шел и я). Она сказала резкую, но стандартную речь о предательстве, идеологической работе, позоре для института. Затем Бароян стал вызывать по очереди, в том порядке как сидели, выбирая евреев-иммунологов — Лямперт, Кульберга, Фриденштейна, которые должны были «осудить» (формула!) поведение Бурштейна как «предательство Родины» (формула!).

Гершанович, сидевший в середине ряда, из которого «вызывал» Бароян, рассказывал, что он медленно и мерзко проходил глазами по рядам, обходя неевреев и вытаскивая евреев. Володя с омерзением чувствовал, что очередь приближается к нему. Бароян «вызывал» Л. Н. Фонталина, который, хотя и числился русским, согласно анонимкам, был наполовину евреем — «Фонталиндером».

Лева сорвал Оганесов спектакль. Он неожиданно начал с того, что после его выхода (в числе 11 прочих) из Ученого совета в 1968 г.* в течение трех лет его ни разу не приглашали на Совет даже при обсуждении вопросов, касающихся его непосредственно. Он не понимает, в честь чего вдруг созданы все заведующие и по какому вопросу обязательно потребовалось его мнение. Бароян был недоволен, перебивал его и требовал высказаться по обсуждаемому вопросу, на что Лева заявлял, что он согласен с предыдущими выступающими, и опять брался за свое.

Барояна вдруг занесло — он стал кричать, что он не антисемит и сам армянин, хотя Лева ничего, казалось бы, об этом не говорил, быстро перешел к голосованию и закрыл Совет. Бурштейна, конечно, забаллотировали. По нашему поводу было сказано, что, мол, Абелев и Гурвич не сочли нужным прийти на Совет, а между тем нам предстоят большие реорганизации в институте, о которых он (Бароян) думает и которые касаются нас.

Я ничего об этом не знал и в понедельник с утра проводил конференцию в отделе. Вдруг меня срочно вызвали к телефону. Звонил замдиректора Каулен:

«Почему тебя не было в пятницу на Совете?»

«Я плохо себя чувствовал, остался работать дома».

«Но ты же должен был обязательно быть, ты же знаешь, какие вопросы разбирались!»

«С соцсоревнованием у нас все в полном порядке, мы только что отчитались, все обязательства выполнены, а на конкурс шли не наши сотрудники. Я не вижу, зачем я был так уж нужен».

«Но ты же не маленький, ты же знаешь, что обязательно должен был быть на этом Совете».

* В связи с «делом Гурвича».

«В каком качестве? В качестве какого эксперта? Или в качестве еврея?!» — последнее я уже проорал на весь коридор.

«Но ты сам понимаешь. Будешь говорить с Барояном, он сейчас приедет. Бюллетень хоть у тебя есть?»

«Бюллетень я не брал, можешь вычесть у меня из отпуска».

«Лучше бы ты не приходил и сегодня. Что, ты сам не понимаешь?»

«Сегодня я не мог не прийти, у меня конференция».

Вскоре я был вызван к Барояну.

«Почему тебя не было на Совете? Посещения Совета обязательны».

«Я очень плохо себя чувствовал, был приступ головной боли».

«Почему я должен делать тебе исключение?»

«Вынесите мне выговор за прогул. Вычтите этот день из отпуска».

«А Гурвич?»

«Гурвич, кажется, выдирает зуб».

«Но ты должен был быть и должен был высказать свое отношение перед всеми».

«Мое отношение вы прекрасно знаете. Я ведь вместе с Гурвичем говорил с Бурштейном».

«Я вижу, ты ничего не понял. Будем думать».

Потом он встал из-за стола, проводил меня до двери, слегка придерживая за талию, и опять повторил: «Я вижу, ты ничего не понял. Ну что же...»

Это было 25 октября 1971 года.

(Продолжение следует)